Александр Торопцев

Три отца и две матери прораба Михалыча

Михалыч вспомнил ее на тридцать девятом ведре: он керамзит таскал на второй этаж массивного дома с мансардой, по-купечески, хозяйкой, примостившей дутые бока между старой «антоновкой» и тремя стройными, высокими — будто мачтовые сосны — липами.

Керамзит в ведрах это не гравий, не песок — легче будет. Но «водила» психоватый попался, сыпанул тридцать кубов за участком, трудно было в ворота въехать, узкие, говорит, ворота. Теперь таскай ведро за ведром и засыпай пол, потолок, внешние и внутренние стены толстобокой мансарды, утепляй — чтобы до последнего кубического сантиметра керамзита ушло в дело, в тепло.

Устал Михалыч на тридцать девятом ведре, усы густые — темный каштан, с рыжими прожилками — зло встопорщились, на худом сердитом лице с тугой морщинкой в переносице проявилась упрямая грусть, вздулись вены на жилистых руках, заискрились каплями влаги глубокие глаза. Устал человек. И вспомнил вдруг мать свою и удивился: «С чего бы это?» Потом понял: от напряга память взбунтовалась, повела в далекие дали. Но странно он вспомнил мать: будто бредет она с носилками по настилу из досок на второй этаж дома, что построили в пятьдесят пятом напротив профтехшколы, а он с пацанами во дворе, в закутке, чтобы учителя и мастера не заметили, в «расшибалку» дуется на перемене.

«Не играл я никогда в «расшибалку», — удивился Михалыч, осторожно ступая на лестницу-стремянку. — И мать не могла таскать носилки в пятьдесят пятом: ее уж двенадцать лет не было в живых. Другая мамка таскала…»

— Не спи, Михалыч, замерзнешь, — ухмыльнулся Димка-бригадир, толстый, молодой, светловолосый, с пышными усами и вялою рукой, любитель готовить обеды, особенно когда нужно было что-нибудь таскать-разгружать.

Хотел ответить, но раздумал, крякнул браво, поднял ведра, поставил их на потолочную балку. Димка подхватил керамзитом наполненные ведра, а Михалыч — с пустыми — спустился вниз, поплелся к воротам, за которыми распласталась огромная куча хрустящих коричневых камушков.

«Как же бабы-то носилки таскали?» — подумал, дрогнул усами, но не ответил сам себе.

Мимо с ведрами прошел Володька, высокий, спокойный, как лось в летнюю пору. Подмигнул. Тоску не сбил. Тоска была сильнее. И шумный шорох керамзита не справился с ней. Сорок второе ведро.

Их в тот день было сто шестьдесят. С каждым ведром тоска нарастала. Солнце вскарабкалось на небо, почти бесцветное, и осталось там, лениво наблюдая, как бродят с ведрами мужики, как краснеют лица шабашников. Долго висело оно над головами трудяг.

Наконец пришел закат. Запалили костер под липою стройной, нестроевой, поставили разогревать суп, чай, и под резвый стрекот сухого дерева, под въедливый хруст керамзита, под шум пустых желудков добили-таки потолок, утеплили.

Поели плотно, быстро и улеглись. Двухместная палатка на троих. Один отчаянно сипит, другой мало что толстый, как перекормленный хряк, да еще и ворочается, будто его весь день заводили, завели и запустили перед сном, и храпит — не храпит, а ревет, как Братская ГЭС. Братан такой храпучий.

А Михалыч спать привык тихо. С детдома. А еще он привык засыпать последним — натура у него такая. И спать он привык калачиком. Сначала на правом калачике, под утро на левом.

Но здесь, в палатке, под окнами красивого дома, спать приходилось навытяжку: неудобно, непривычно. Усталость, правда, быстро убаюкивала, но в тот вечер и она не совладала с ним, растревоженным. Поворочался он с часок на вытяжке, выполз из спальника, сел у присмиревшего костра, обхватил голову, замер от дивных чувств.

Не знал Михалыч, что происходит с ним, шепнул то ли с испуга, то ли от радости: «Надоело все!» обомлел, придвинул ноги к кирпичам, охранявшим костер от ветров, и вдруг душу свою почуял, ощутил: не руками потрогал — непонятно чем, но потрогал он душу усталую. Она разлита была по телу, и все тело, все клеточки встрепенулись от волнения, от тоски по матери, по той душе, от которой пятьдесят три года назад отделилась его душа. Он сидел у костра, прижав ноги к угасающему теплу кирпичей, и хотелось ему только одного: увидеть мать, прижаться к ней, обхватить (будто он маленький, ей по грудь), почувствовать то самое доброе в мире, что на свете белом довелось ему познать — душу ее, сказать…

И вдруг Михалыч почувствовал, что она рядом, очень близко, недосягаемо близко. Она пришла к нему. На свиданку. Вот она — через решетку и толстое темное стекло. Не видно ее, не слышно — тюрьма. Бессрочная тюрьма. Пожизненное заключение. Жизнь. Самый высокий потолок. Хуже вышки. Вечная грусть. Свиданка с матерью — одна отрада. Она пришла. Она рядом. Через толстую решетку и темное стекло. Ничего не видно, не слышно. Можно только чувствовать: если оттуда, с воли, этого очень захотят. И он почувствовал. И обрадовался. Как зек, которому нечего терять, у которого в жизни осталась одна надежда — на свиданку с матерью. И как зек, которому нечего терять, хотел Михалыч говорить — что за свиданка без слов, видеть — что за свиданка через темное стекло?! Ни того, ни другого в его тюрьме не разрешалось, можно только чувствовать. Ах, чувства! Как дороги вы человеку, которому нечего терять!

Михалыч неосторожно шевельнулся (ноги затекли, упершись в тепло кирпичей) и вспугнул диво дивное: не получился у него разговор! Он вновь съежился, затих, просидел в предутреннем безмолвии, может быть, вечность просидел в ожидании нового чуда, и…

— Чего ворон считаешь? — буркнул Володька, прошел, сонно шатаясь, к дереву, надежда исчезла, как дым березового костра.

И остался Михалыч один. В одиночной своей камере пожизненного заключения. Опять один.

Дождался, пока Володька скроется в палатке, удивился произошедшим, улыбнулся — тоски не было! Куда она улетучилась, не знал Михалыч, но с той минуты он не чувствовал себя одиноким. Залез в спальник, вытянулся, уставился в дырочку в палатке, где через целлофановое покрывало проглядывалась неяркая звезда, и уснул.

Проснулся раньше всех, оттолкнулся и побежал по своей камере пожизненного заключения, чтобы не замерзнуть, чтобы пожить. Ему жить захотелось долго-долго! Расшевелил костер, давно уснувший, поставил чайник на плиту, покоившуюся на кирпичах печки-костра, подумал: «Я живу, я — зек, ну и что? Нормально. На волю вечную больше не тянет. Даже если мамкина душа позовёт будет, не пойду. Здесь тоже люди живут. Да, несладко иногда бывает, но то ведь зона. Попал сюда, сопи в две дырки и людям не мешай — помогай». Удивился мыслям странным, подобрал ноги от жара костра.

Чайник удивленно засипел: ты чего, взбрендил? Михалыч не ответил: чайник ты и есть чайник, мало таких видели?! Нарезал хлеб, полу копченой колбасы, разбудил мужиков. Те солдатиками вскочили, полили друг друга из ведра, покрякали и сели за стол, круглый, взопревший фанерой от старости, но еще крепкий.

Михалыч чему-то улыбнулся, не ответил Володьке, который, громко хлюпая, спросил:

— Всю ночь колобродил? Чаек что надо заварил.

И опять был керамзит. Полдня. К вечеру стелили полы. Работа молодым в радость. Но пятидесятилетним на корточках елозить утомительно: ноги стынут, поясницу ломит, молоток руки крутит, гвозди намагничивают пальцы — в самых кончиках пальцы гудят от магнитной энергии гвоздей. Скорей бы в спальник.

К лешему ужин — спать. Уснул Михалыч быстро, спал навытяжку на правом боку, не

шелохнулся ни разу, проснулся раньше всех, заворочался. Володька, чтобы не крутился, прижал его к стенке палатки, словно в тесный пенал вогнал. Кому приятно спать в пенале? Вывернулся кое-как, вылез из палатки, потянулся у костра и по саду побрел осторожно, словно бы на ощупь, словно бы ждал чего-то. Брел Михалыч по траве — ноги мокрые, руки в стороны, голова вверх, и так ему было хорошо, что остановился он, руки опустил, с удивлением осмотрел закоулки большого сада, потер крепким пальцем лоб, еще раз осмотрел сад: деревья, грядки, росную траву, полиэтилен помидорной теплицы.

* * *

Было у Михалыча две матери.

На свиданку приходила мать родимая, та, что родила его в тридцать девятом. Она погибла в сорок втором в цехе, и никогда он не видел лица ее живого, не слышал голоса. Только очень любил почему-то и мечтал, пятьдесят лет мечтал, когда оставался один на один с собой — во снах, увидеть ее. Она не приходила, и лишь вчера, ночью, порадовала сына, пришла, успокоила, уставшего, не разговорами да обещаниями, а одним лишь присутствием: я рядом, все будет хорошо. И ушла. Далеко-далеко. Где туманы невидимые кочуют, не растет ничего и не колышется, откуда вырваться можно по случаю, по великому счастью.

Михалыч, родившийся по случаю и на счастье, стоял в центре сада, орошенного косым дождем солнечных лучей, и поверить не мог, что этого больше не повторится, что не будет больше свиданки, что все для него матушка родимая сделала — возможное и невозможное. Он не верил. Стоял и ждал. И причудилось ему, полусонному, что идет он по саду мальчиком: маленьким, трава по пояс. Таким маленьким, что даже слово война понять не может. Идет он по саду и маму мечтает увидеть. Она с работы вернется, на колени его посадит и поедет он по кочкам, по кочкам.

Шел Михалыч по кочкам неухоженного сада и не видел ничего, по памяти брел. Память проснулась, повела Мишутку по саду — родному, которого он никогда не видел. Шел мальчик по саду, вспоминал: да, я шел, большой был сад, там груша росла, там три

вишенки, смородина, ягоды красные, у забора длинные березы и тополя. Как хорошо вспоминается. Не может быть. Три года всего было, не могу я этого помнить. Но помню же! Точно так я шел по саду, как сейчас иду. На солнце.

Он шел по тропинке и думал: дойду до калитки, поверну обратно, если маму не встречу, потом опять пойду — все равно встречу. Но до калитки не дошел. Навстречу кинулась похожая на маму тетя, обняла его, даже не подняла — тяжелый что стал? — задрожала телом. От того, видно, дрожала тетушка его (думал сейчас Михалыч), что чуяла мамкина сестренка смерть свою близкую и все, что достанется в жизни племяннику и дочке ее, которая на год помоложе братика двоюродного.

* * *

— Чего стоишь, как пень? — окликнул его Володька. — Костер бы разжег!

* * *

Было у Михалыча три отца: первый с мамкой в цехе погиб.

Второй, самый главный, самый добрый был. Его фотокарточку показывали детям воспитатели, спрашивали у всех и у каждого в отдельности: «Кто это?»

— Это папа! — отвечал бойко мальчик-Михальчик, так называли его в начальных классах детского дома.

Папа, самый добрый и мудрый вождь всех на свете людей, заботился о детях, отдавал им все, что у него было. В детдоме фруктового сада не было и огорода — тоже.

- Не чуди, Михалыч, — усмехнулся Димка, выслушав на завтраке воспоминания уставшего человека. — В три года себя помнят только гении. Пей чай, работы по горло.

— Я и сам удивляюсь, — Михалыч улыбнулся.

Добрая у него улыбка, усатая. Лицо худое, говорок басистый, движения резкие, может и послать куда подальше. А улыбка иногда пробивалась сквозь смурность лица такая, что не верилось — разве может так улыбаться пятидесятилетний усатый человек, так только дети улыбаются, когда навстречу мамка идет.

— Чего лыбишься, Михалыч? — Володька шагнул от стола. — Как будто тебе бочку пива подарили. Пошли.

Весь день обнимай плаху 50 на 120, режь в размер, загоняй шип в паз клиньями, забивай гвозди. И не думай ни о чем, потому что думать на такой работе — значит щели в полу шириной с палец, доски исколочены-измяты, а то и ссадины в кровь. Но как же не думать, когда рядом, за спиной, стоят родители Михалыча: обе мамки и три папки, и смотрят, как строит сын красивый дом бравому хозяину.

Да вон и хозяин объявился!

Дымчатого цвета приземистый «Нисан» замер у ворот. В синей, строгой паре вышел из машины крепкий человек, направился к дому. «Здорово-здорово!» — всем руки пожал,

осмотрелся и стал работу принимать. Как договорились: оплата поддельная. Утеплитель засыпали, полы настелили, фронтоны обшили — получайте в субботу деньги.

Деньги получай!

Семь классов закончил Михалыч в детском доме. Круглые пятерки. Отличник. Прямым ходом в суворовское училище. Так постановил отец всех на свете детей: хорошо ведешь себя и учишься и жизнь тебе будет хорошая. Доброго папы уже не было, но друзья и соратники, добрые дедушки, продолжали дело вождя. В Суворовское Михалыч не прошел по зрению. Забрал документы, побродил по Москве, очутился у трех вокзалов, встретился с таким же неудачником.

— Айда в профшколу! — решили пацаны. — На краснодеревщиков.

Сказали — сделали. Приехали — экзамен. Лучшим в детском доме математиком был Михалыч, все задачки по арифметике и геометрии решал. А тут двойку получил. Так неожиданно он двойку получил, что даже не поверил. Никто бы в детдоме не поверил! Директор вызвал его к себе, сказал:

— Не можем мы тебя принять с двойкой.

— И ладно.

— Я без тебя знаю, что ладно, а что неладно. Как дальше жить будешь? Деньги на дорогу есть?

— Нет, — пацан, войной недокормленный, полтора метра с кепкой, кепка в руках, не знал, что говорить, слезы мешали: никогда в жизни он не плакал, а тут…

— В детдоме получил на дорогу? — не отставал директор. — Что делать собираешься? — не понимал он, хоть и при орденах, что у пацана даже дороги никакой не было.

— Воровать пойду, — выпалил двоечник несчастный. — Ничего больше не умею делать.

И устал сдерживать слезу, заревел от обиды. Почему так получилось? Старался ведь! Все задачки, кажется, решил. А тут! Громко ревел Михалыч. Ничего в жизни у него не получалось. Двух отцов потерял, мать, в Суворовское не поступил — даже не спросили, как он задачки в детдоме решал, сколько раз подтягивается…

— Не реви ты, — после некоторого молчания (будто экзамен на ревение принимал) сказал директор, который хоть в отцы к пацану не набивался, но вдруг, строго буркнул. — Берем мы тебя, — и вздохнув, он, однорукий, добавил. — Вставай на довольствие.

— У, елки-моталки! — рыкнул Михалыч, сжал левый кулак: палец прибил молотком, черная метина родинкой вскочила — больно!

Да ладно бы палец, бывало на стройке всякое, но… на мансарде-то что творится, хозяин как разошелся! Давно Михалыч газет не читал. О чем читать — о гомосеках да миллиардерах? Видал он их всех в гробу и подальше кое-где видал. Читать еще о них.

Хозяин разошелся не на шутку. Не с той ноги, что ли встал из «Нисана». Все газеты разом прочитал шабашникам, бегая по мансарде. Спился народ, работать разучился, деньги получать не хочет, зарабатывать честно. И мать-перемать через каждое слово, не по газетному, конечно, но смачно, яростно, будто его за эту речь в Думу должны были выбрать или в другие бугры. Никогда Михалыч таких слов о своей работе не слышал. А тут услышал. Вроде бы старался, гвозди колотил, пальцы в кровь, а он: чего лупишь в доску по десять гвоздей, они деньги стоят — мои деньги, а не твои. А их зарабатывать

надо, тунеядцы, несчастные.

Действительно, наколотил Михалыч гвоздей. Не жалея. С усталости что ли? Или от задумчивости. Двойку получил он за свою контрольную шабашную, опять двойку. Помолчал Михалыч, слюну проглотил.

Тридцать пять лет назад у него уже мать появилась вторая и третий отец, плюс четыре брата.

То было нехорошее время для него. Еще год назад он любому бы шнобель намылил, если бы кто грубое слово сказал о вожде всех народов. Да убил бы, чего говорить. А тут по радио, в газетах, на собраниях, учителя, мастера и даже директор — весь мир заверщал-закричал громко и смело, так громко и смело, что Михалыч, хотя и вырос в профшколе на 17 сантиметров, маленьким себя по чувствовал, никому не нужным.

Не было бы в тот момент отца и матери, не выдержало бы сердце — так бойко стучало оно, когда по радио говорили, что никакой не мудрый был отец его главный, а враг роду человеческому, изверг, культ с личностью. Михалыч, допризывник, скрипел зубами и только спокойные, добрые глаза отца и матери спасали от беды.

Она нашла его в пятьдесят пятом на речке. Он дрался с ее сыновьями. Ну как дрался: сначала он бил одного, потом его мутузили трое.

— Настя! — крикнули соседки. — Там твои детдомовца лупят, из профтехшколы.

Господи, грех-то какой — детдомовца бить! Она картошку не дочищенную плеск в ведро, руки о фартук и на речку бабьим тяжелым аллюром. Не успела. Пацаны, помятые, всклокоченные, как трава после грозы, сидели на взгорье у быстрой речки и наперебой

болтали. У детдомовца синяк под глазом, у младшего ухо в кровь, но стоят друг за друга стеной:

— Мы приёмчики показывали, честно, мам. По самбо. Ну, честно!

Зазвала всех домой, накормила. Мишка ел не спеша, знал себе цену. Улыбнулся, спасибо сказал, я пошел. Она посмотрела на его недокормленную фигурку, на глубокие глаза. «На здоровье», - ответила и больше ничего. И только, когда посуду мыла, слезой неосторожной тарелку макнула и руку чуть выше локтя. Быстро справилась с собой и пацанам со всей строгостью бабы, лучшие годы которой пали в битвах на трудовых фронтах, которую выть учили «похоронки», петь учили «похоронки», жить учили «похоронки» и твердый бархатистый голос радиодиктора, которая рожала мужиков для страны, для светлого будущего всего человечества с 38-го по 47-ой год и рожала бы хоть по 57-ой год, да устала мужиков рожать… — со всей строгостью бабы русской сказала Настя пацанам:

— Мишку не обижайте.

Так нашла она себе пятого сына. На речке. Год кормила она его, обштопывала, обстирывала, брюки, рубашку купила, ботинки, и он вечером, когда всей семьей они примерку устроили, сказал для бабы самое заветное слово:

— Мама, спасибо.

А через месяц затрубили по радио страшные для Михалыча слова. Он сжался в комок, не верил. Он любил, приучен был любить отца с фотокарточки, мечтал отрастить такие же усы, тренировал улыбку перед зеркалом. Он не верил. Смотрел на портрет отца всех детей, в грустные глаза второй мамы и третьего отца, и в их глазах чувствовал непонимание. Приученные любить и молчать и работать они молчали. То была тихая, невинная мудрость простых людей, обыкновенных. Она спасла Михалыча от внутреннего раздора. Сердце успокоилось. Он так и не поверил в то, что говорили по радио. Отец все-таки. Хоть и фотокарточный. А Михалыч родителей не предавал. Его так воспитали. Хорошо воспитали, считал он. И сам он себя воспитал хорошо.

Закончил профтехшколу. Стал мастером-краснодеревщиком, работать пошел, принес домой первую зарплату. Родителям отдал. Сели за стол, все в сборе, кроме старшего — он на погранзаставе служил, и отца фотокарточного — его портреты все уже сняли со стен: кто изорвал в мелкие клочья, кто припрятал, кто огню предал, но почти все наклеили новые обои, стены обновили: даже метин не осталось от гвоздей, а у многих не осталось метин и в сердцах, потому что новые добрые дяди такую светлую радость наобещали по радио и телевизорам КВН-49, что дух захватило: коммунизм! Светлое будущее всего человечества. Хорошо-то как! Всего двадцать лет. А что это такое — с начала войны прошло почти двадцать лет! Доживем. Поработаем, в работе время быстро идет, и будем жить при коммунизме. Айда, на работу — быстрее.

И побежали без оглядки старые и малые к коммунизму, не замечая, что чем быстрее они бежали, тем быстрее приближались не к коммунизму, но к заветному концу, к которому ни коммунистов, ни капиталистов не тянуло. Об отце великом стали забывать. Другие люди позанимали святые места на трибунах, уверенные до одурения. Сами они одурели от светлой мечты, людей одурили, и некогда было тем и другим думать про великого отца, сопоставлять, учиться жить.

- Я же ясно сказал, стойки под стропила здесь ставить, а не здесь, — бушевал хозяин. — Память потеряли, водяру хлыщете ведрами. Послал мне Бог алкашню.

Боль в пальце утихла. Михалыч виновато улыбнулся: хозяин, протопав мимо, взглянул на него.

— Чего за руку держишься, как за хрен?! Пить надо меньше, не будешь по пальцам бить.

И засмеялся. Слава Богу, пронесло.

Присел Михалыч на плаху, вбил в потолочную балку скобу, вогнал между скобой и плахой клин: плотно прижалась доска к доске, волос в щель не пролезет.

— Умеете работать, когда хотите, — хозяин попрыгал по полу, у Михалыча сердце радостно заухало: будто его опять в профшколу приняли.

Тринадцать лет назад он сдавал Олимпийский объект. Это, если посчитать, до материально-технической базы светлого будущего оставалось несколько дней. Ну — недель. Ну, если сбросить на разные мелочи и непогоду, которая во время похода трехсот миллионов в коммунизм не баловала — несколько месяцев.

И до Олимпиады оставалось несколько месяцев. Михалыч ее ждал, много работал. Может быть, поэтому не переживал из-за того, что о светлом будущем уже не говорили с пафосом и придыханиями в голосе, как то было во времена первой его зарплаты, когда коммунистическая надежда отвлекла простолюдье от сталинской темы. Ее в те времена как бы оставили на потом. Потом разберемся. Коммунизм забацаем, по три костюма напялим, спляшем какой-нибудь коммунистический фокстрот и поговорим, хорошо одетые, обо всем: дел-то при коммунизме особенных не будет, немного работы и много жизни.

Такое мнение было у Михалыча. Он никому не говорил о нем, в молчанку играл, хотя в штрафниках не ходил, просто строил коммунизм, делал всё, как полагается. В армии замкомвзвода был, после армии закончил заочный техникум, бригадиром работал, прорабом, женился, дочь родилась, детский сад, школа, объекты разные. Михал Михалычем уважительно звали. К коммунизму дело пошло: ГЭСы, ракеты, космонавты, заводы, гордость и радость на сердце. До светлого будущего рукой подать. Не понимал в те годы Михалыч диалектики будущего, которое, чем быстрее бежал к нему народ, тем больше удалялось от него. Странное будущее. Казалось, до него рукой подать, ан, нет, хрен дотянешься. А когда долго к чему-то тянешься и не достаешь, то либо надоедает все, либо… Коммунистическая гордость и радость стала затухать. Грусти еще не было у Михалыча, но радость уже заметно спала. Он не захотел верить в грустное, а когда страна взялась с жаром-пылом за Олимпийское строительство, первым крикнул: «Я» и отдался делу со всеми потрохами. Тем более цель была светлая.

Немного пугало его слово Олимпиада. В детдоме учительница по химии была — Олимпиада Тимофеевна, злюка страшная. Не любил он с детства ни Олимпиаду, ни химию. Но цель у Михалыча была. Квартиру ему обещали. А без квартиры как? Коммунизм ведь скоро, а тут хоть и двадцать три метра комната, и два новых пиджака в гардеробе, но — квартиры-то своей нет. Как же в коммунизм без квартиры — плясать негде будет! Шутил Михалыч, прораб на Олимпийских объектах, но в шутке той была затаенная вера — он верил. Может быть, потому что никто еще в открытую не сознавался: коммунизму не быть.

В конце семьдесят девятого он сдавал Олимпийский объект и готовился получить квартиру. Не в Олимпийской деревне, положим, но в родном Пригороде. Трехкомнатную. С лоджией на шесть метров и прихожей — я тебе дам.

Комиссия на объект приехала — мать честная! Иностранцев не было, но пузатые все, как на подбор, важные. Крепко замандражировал прораб, будто дрожь похмельная била по телу, хотя не пил он недели две. Шутка сказать: под плитку все сработано, цветно, весело, как для бал-маскарада, хотя строил Михалыч обыкновенный железнодорожный вокзал подмосковной станции. Началась бодяга. То не так, это, алкаши, тунеядцы, совесть потеряли, на весь мир ославите. Опустилось все внутри у прораба и подниматься не думает: не видать ему квартиры и коммунизма. Но ведь он старался! Все по проекту делал. А уже если что недоде…

«Молчи, Михалыч! — остановил его ударом в спину начальник треста. — Веди в кабинет, там договорим».

А в кабинете круглый стол со скромным угощением по русскому обычаю: с икоркой красной и черной на закуску или деткам в подарок, с другими деликатесами, с покорным наклоном головы, уж извините, если что не так. А не так на объекте было все. Даже после третьей стопки. После пятой, правда, что-то изменилось, а, когда прораб стопкам счет потерял, дело резко пошло к коммунизму. Пропустили Михалыча в светлое будущее. Приняли объект, оклад повысили, дали квартиру — все пошло у него чин-чинарем.

Михалыч забычил чинарик «столичной».

— Как уехал! — удивился, а Димка лишь руками развел:

— Говорит, пока не переделаете, не доделаете, деньги не дам.

— Не может быть! — Михалыч глаза вытаращил, губы сжал, усы погладил и застыл на месте.

— Будет проезжать часов в девять. Время есть, — сказал Володька. — Давай поработаем.

Мужики сели на брус, задымили. Говорить не хотелось. Ветер беззвучно телепался в листьях липы, шевелил некошеную траву. Михалыч смотрел на нее сквозь дым Володькиной сигареты, сизыми завихрюшками вытанцовывающий причудливый танец. Гибкие фигурки дыма извивались, закручивались в прозрачные спирали, ниспадали в небо то быстрыми косичками, то вялыми клубами, то бутонами цветов, проваливались в небесный огромный сосуд, а Михалыч смотрел на беззаботное вальсирование сизых клубов и не замечал, что не курит дорогую «явуявскую», что гудит где-то рядом муха.

Никогда не было с ним такого — чтобы деньги вовремя не приносить домой. Даже с недоделками принимались объекты, даже олимпийские. Ну, водочки там, коньячку-балычку, стол, а то и на дачу кому-нибудь чего-нибудь подбросит — не коммунизм еще, слава Богу, прощаются мелкие грехи, да и не для себя старался он, для трудяг: получали мужики и бабы всегда вовремя даже премии, не жаловались. А тут приехал бычара на «иностранке», уперся рогом, замычал: «Сами вы мелкие недоделки! Это — халтура. А за халтуру все уже уплачено. Сейчас работать надо, понятно?!»

«Недоделки», — подумал тоскливо Михалыч.

Все у него было нормально. Квартиру получил, обставил, сарай у оврага, неподалеку от дома, смастерил с погребом два с половиной метра глубиной, повышения ждал. Шел ему в ту пору сорок третий год. Это когда не боишься ни сумы, ни тюрьмы, даже коммунизма, о котором все вдруг разом забыли, а если и вспоминали, то с шуткой или со странной русской придурковатостью: мы и раньше знали, что коммунизму не быть, что все это брехня. Не нравилась Михалычу эта придурковатость русских курилок, хотя он и сам уже не верил в передовицы главных газет.

…Он возвращался вечером домой, почти добрел до новостройки. Шел спокойно. В старых домах бывало всякое. Но такого не бывало никогда: чтобы Михалыча кто-нибудь здесь тронул. Он в этих двухэтажках, если не считать солдатские три года, двадцать лет прожил, свой в доску, родной, всем лично известен: от начальства до синих кепок и доходяг. Он шел спокойно. Не думал ни о чем. Полный отдых в голове. Никак он не ожидал, что его местные зеки проиграли. Первого встречного они проиграли в «сику». А он шел и мечтал телевизор посмотреть, очередное мгновение показывали из семнадцати. Вдруг из-за угла вывалился на него детина метра под два без кепки — прямо снежный человек, йети. Михалыч вытащил руки из карманов, хотел спросить: «Ты чего, кела?» а тот даже слушать нес тал — схватил его в охапку и в кусты.

— Ты чего дуришь? — пробасил Михалыч, а йети его мять-подминать.

У Михалыча от неожиданности фишки на лоб: ничего себе заявочки!

— Слушай, я могу и в рожу дать! — он быстро остервенел. — Тебе брюки-то зачем?

Вместо ответа получил удар огромным кулаком по затылку. Не нокаут, а глубокое грогги. Несколько секунд затемнения. Когда оно рассеялось, понял Михалыч, что этот чертов йети его пытается просто-напросто изнасиловать. Во, дела! От сумы, от тюрьмы — и от этого дела! Мычит йети по-своему, кулаками, зверина, машет, кувалдометрами, а силушки у него раз в десять поболе, чем у Михалыча, победителя Олимпиады.

«Мать честная! —устал он вконец от борьбы. — Как же я домой приду, к дочери?»

Он дочь со школы, со второй смены, встречал и водил по этой дороге, чтобы никто дочку не обидел словом дурным. Словом дурным! А тут…

Упирается Михалыч, сопротивляется, а махина сверху мнет его, лупит кулаками по голове, по бокам — нет сил. Нет силенок справиться с ворогом проклятым. Осталось одно средство, крикнуть во всю глотку: Петька, помоги, Михалыча насилуют! Петька, его окна над кустами, выскочит, поможет… но ведь смеху будет, позору на всю жизнь. А у него дочка в девятом классе. Стыдно кричать. А гаденыш-йети ногами по печени.

Эх, Михалыч, спасайся сам. Изловчись, извернись и молчком ему самоделку-нож в пузо двинь, или хоть куда попадешь. Ну, дитя войны и детдомов, вспори ты пузо этой гадине! Упал Михалыч на правое плечо, не видно ни черта, руки-ноги-тело ватные. Темнота в глазах от кулачищ пудовых, от вечера осеннего, от задранного пиджака, совсем еще не старого, черного, под галстук, пиджака сорок шестого размера, второго роста. На работе… нож-то не оставил? Где он родненький?! Неудобно в такой позе по собственным карманам шарить, а эта сволочь уже трусы дерет — ну придурок! Красные трусы, спортивные, неужели нет ножа! Неужели в вагончике оставил, неужели так крупно сдурил ты, Михалыч?!

«Мать честная!» — шумно ударила в голову не то мысль страшная, не то боль от очередного удара.

Есть! Повезло! Он всегда нож с собой носил в боковом левом кармане. Спокойнее было с ножом бывшему детдомовцу. С трудом просунул он руку в карман, вытащил нож, резко припал на оба плеча, раскрыл самоделку под собой, у груди, расслабился — мол, сдох, делай, что хочешь. Финт удался, йети тоже расслабился, а, может быть, свои штаны снимал, сука недоразвитая, и Михалыч с брюками на коленях, в трусах на бедрах, с пиджаком, рубашкой, майкой на голове почуял момент, подумал азартно: «Вырвусь!» да вовремя понял, измотанный неравной схваткой за личную честь, что силушек не хватит вырваться, что сможет он сделать всего одно резкое, через не могу, движение.

Толчком рванулся он на локти, крутанул тело против часовой, руку правую бросил вверх с изворотом до боли в спине — угадал, попал! Нож в пузо воткнулся дылдино, вошел легко, глубоко — ах, радость-то какая, попал! Обмякла туша, ухнула по-звериному, а Михалыч, счастливый до безумия, вывернулся из-под туши вправо, с земли приподнялся, место освободил жертве своей. Мужик завалился мешком здоровенным, полупустым, бухнулся о землю, екнул, йети подрезанный. Михалыч, победитель, олимпийских объектов строитель, брюки натянул на тело не испоганенное, пиджак от пыли отряхнул.

«Победил! Я победил!» — дрожала мысль, дрожали пальцы и колени, спина дрожала и живот, и грудь и челюсть, и зубы клацали — от счастья.

А поверженный соперник, враг, даже не стонал от обиды и боли — проиграл.

— Мужики, я человека зарезал, — спокойно сказал победитель, прошел усталым шагом к раковине, открыл кран. — Позвоните в «Скорую» и в милицию, я дома буду, собираться, пусть приезжают. Он у седьмого лежит.

Хлопнул дверью котельной, затем по карманам: надо же, ключи не выпали.

В олимпийской квартире ждали его жена и дочь, красивые девчонки, что и говорить.

— Часов пять у нас есть, успеем, — сказал Володька, и, побросав окурки, мужики пошли устранять недоделки. — Вот повезло мне на этого борова.

Михалычу повезло с адвокатом, следователем, судьями. Нормальные люди, советские. Он, хотя и знал, что срок ему катит лет на пять, но был уверен в благополучном исходе дела. На суд народу пришло мало. Выступали, говорили, судили-рядили, характеристики зачитывали — у Михалыча во характеристики, хоть в Верховный Совет выбирай.

Потом зачитали приговор. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической республики намотали Михалычу срок — пять лет. Он остолбенел от неожиданности, будто заморозили его под корень. А они его еще и спрашивают тем же именем, слово последнее желаете сказать? А больше что, слов не будет? Испугался Михалыч последнего слова. Роковая черта. Суд поделил приговором зал: здесь осужденный, там все остальные. Но почему? Последнее слово, роковая черта. Больше слов не будет.

Михалыч стоял за чертой и не верил, что все уже свершилось. За что?! Пять лет строгача! Разве можно сажать в тюрьму человека за то, что он победил в схватке с нелюдем?! Вы ошиблись, судьи, не ту строку прочитали. Мы не ошиблись, увидел осужденный в спокойных, непроницательных лицах, и в душе колыхнулось что-то мерзкое, глупое: они правы! И эта, изнутри изошедшая права потрясла Михалыча. Он стоял, человек сорок шестого размера второго роста, между судьями, людьми и милиционерами, смотрел на них и не знал, что же сказать в последний раз, не понимал, что решение суда бесповоротное, роковое, поделившее его жизнь на две неравные части: перед последним словом, и после него. После него будет всегда. Раз и навсегда суд вынес приговор. Разрезал жизнь Михалыча. И ни один хирург не сошьет эту рану жизни: нет таких хирургов, таких прочных ниток.

— Я хочу, — он потупил взор, — вот что сказать, — голос слегка окреп, но не выбрался из той безнадеги, в которую его вогнал приговор суда, — я помог отыскать этого гада. Он пять судимостей имел, его разыскивали четыре года. Сколько бы бед он натворил. А вы мне пять лет. А его в хорошей больнице лечили.

В зале кто-то недовольно вздохнул, и осужденный умолк.

— Вы все сказали? — спросил судья.

Михалыч посмотрел в зал, хотел узнать, кому помешало его последнее слово, удивился: полусонные лица сослуживцев, друзей, родных. Неужели им помешало последнее его слово?! Про жену-то он и не думал. Она вроде бы и любила его, но иной раз он ее не понимал. Вот и сейчас она уткнулась тупо в пол, а на лице не то ухмылка, не то бабье: «Каким был дураком, таким и остался. Не мог последнее слово по-человечески сказать».

— Да, — молвил осужденный, потому что не научили его в детдоме, в профшколе, в техникуме последние слова говорить.

Работали неохотно, зло. Не верили, что хозяин проездом заглянет, рассчитается по уговору. К восьми часам злость выдохлась, усталость выдула ее.

— Все, наелись! — махнул рукой Володька. — Рванули домой, в понедельник деньги получим, заодно и поговорим.

Уложили инструмент в бочку из-под краски, собрали вещи. Вдруг объявился хозяин — будто эти пять часов он с чердака соседнего дома наблюдал в подзорную трубу, как устраняются недоделки. Обрадовались друг другу. Михалыч усы крутил, негромко покрякивал. После «беглого осмотра» объекта хозяин отсчитал деньги.

Михалыч получил две крупные бумажки по пять тысяч рублей и… оскорбился в душе: вкалывал десять дней, а заработал всего две бумажки. Володька с Димкой улыбались: «По три нуля на каждой!», а он сузил глубокие глаза, нахмурил брови.

— Ты чего обмяк, как передоенная корова, мало дали? — хохотнули шабашники.

Он не ответил. Что-то тут не так, а что — непонятно.

— Хватит деньги мять, погнали домой, — Володька пружинистой походкой прошел к рюкзаку, забросил его на плечо, и они поспешили на электричку.

В вагоне разработали план разговора с хозяином. Они хотели выцыганить надбавку процентов на пятьдесят. А что?! Инфляция. Рост цен. И т. д., как говорится. Прибавляй, хозяин.

Приехали. На вокзале разбежались — кто направо, кто налево, Михалыч прямо пошел. Мимо роддома, школы, старых домов — к «олимпийской» девятиэтажке. На перекрестке, неподалеку от вокзала (еще шум электричек не потерял силу), остановился у киоска.

— Комплект «Распутинской», — сказал с выпендрежем, протянул смазливой девчонке бумажку.

— Майкл, смотри какая? — удивилась та, долго рассматривала купюру на свет, уложила в бумажник и с неохотой отсчитала сдачу.

Михалыч стоял гордый. Все нормально — ворох денег-бумаг отвалила девчонка. А когда он убрал их в карман, сразу приполневший, да в другой карман сунул бутылку, стало совсем хорошо. Пошел по тротуару под длинным кленовым козырьком прямо на луну. Вечер быстро густел.

Вообще-то Михалыч никого не боялся, даже когда с деньгами ходил. Или с бутылкой ноль семьдесят пять. «Погуляем на пару с луной, — сочинял он новую песню на бравом ходу, — хоть и с толстой, но молодой».

— Ха, ну и белибердень прёт, — хорошее настроение было у него в дни зарплат, премий и отпускных. Стихи, правда, чепуховые получались и мелодии так себе, но разве в этом дело? Человеку хорошо, Михалычу. Идет он домой и песни сочиняет, никому не мешает:

Я бы с неба ее утащил,

И в кровать бы с собой уложил,

О, луна ты моя, о луна,

Почему ты не любишь меня?

Мимо седьмого дома прошел, даже не екнуло, как иногда, у проклятого угла. Вступил в трехкомнатную барином, сказал жене:

— Мяса давай, пить будем.

Любил он водочку под мясо и соленые огурцы.

Жена на кухне колготилась. Выложил ворох бумаг-денег на стол, синюю бумажку показал. Жена поохала, подивилась — вечеря началась. Распили они «Распутинскую», добили остатки «Столичной», спать легли.

На первую свиданку не пришла жена и дочь.

Мать он принимал на первой свиданке в просторном «кабинете» пересыльной тюрьмы,

ту мать, которая не в капусте его нашла, как и положено русской бабе детей родных находить, а на речке.

Крепкая она была. Ни война, ни стройки пятидесятых, ни шесть мужиков в доме, ни смерть мужа (он уморился от ран военных в семьдесят пятом, когда они, проводив младшего в армию, собрались пожить по-человечески), ни суета с внуками не притомили ее, не ухайдокали. И беда Михалыча в гроб ее не уложила. «Всяко в жизни бывает, — сказала она на свиданке, — держись». Он кивнул лысой головой: «Ладно, мама», хотел сказать много хорошего да стушевался, как когда-то перед директором профтехшколы, плакать, конечно, не стал.

Первая получка была — купил он ей разноцветный платок. Мать носить его не стала, берегла, радовалась. После армии опять была первая получка. Потом разные премии, повышения, праздники — дарил он матери подарки. Но чего-то главного не успел подарить ей. Он понимал это, хотел сказать на свиданке что-то важное, но не смог почему-то. А она смогла и успела:

— В тюрьме тоже люди живут, держись.

С ее легкой руки повезло Михалычу на зоне. Не сделали его педиком, не стал он тубиком, не издевались над ним, не мытарили, шестерить он не мог из-за детдомовского происхождения. Вел себя тихо. Никому не мешал, делился всем, что было — как учили в семье и в детдоме. В отцы к нему никто не набивался, хотя разных паханов и бугров на зоне хватало. И дури людской, и одури душевной повидал он на всю жизнь с лихвой. И все-таки люди на зоне жили. Корешей он нашел! С бывшим детдомовцем стыкнулся. Тот пару лет спустя после него в Суворовское поступал, срезали. На зоне семирик тянул за наркотики. Не то чтобы по случаю. Дела были. И… кому-то надо за наркотики сидеть, — так он оправдывался. Повезло Михалычу на зоне. В примосковских областях отсидел срок от звонка до звонка, как и положено.

…Жена захрапела громко, отрешенно. Михалыч тоже спать хотел, еще в электричке кемарил, но сейчас тело, усталостью намагниченное, и старая тоска не давали уснуть. Он лежал на кровати «скраю» и чего-то ждал. Непонятно чего. Потом сознался себе, что ждал он ту мать, которая недавно приходила к нему на ночную свиданку. Родную мать ждал он кряду несколько ночей, хотя знал, что она так скоро не придет и придет ли вообще? И сейчас он зря ждал. Но ждал. Ворошил жизнь свою, искал слова для матери,

ночь плутала за окном, искала чего-то, нашла выход, поспешила в свои покои, оставив сонное Подмосковье один на один с солнцем. То звезд было черти сколько, а теперь осталось на блеклом небе за окном одно солнце. «Не придет», — зевнул Михалыч и отрубился. В два часа проснулся, носом потянул: мировая жрачка на кухне готовится, пора вставать.

Поели, «резкость навели» (у него для этого всегда имелось в загашнике что-нибудь), полегчало. Захотелось рассказать жене о ночной свиданке, но не стала она слушать, буркнула:

— Лучше на рынок пойдем. Мясца купим, то-се-пятое-десятое, овощей.

Не любил Михалыч по рынкам ходить. Особенно с женой. То-се-другое. И овощей. Ха! Это она одна так покупала, а если удавалось мужа на рынок заманить, то и то, и се, и пятое-десятое, и одну сумку, и другую — и овощей в авоську. Затаривалась она, будто в последний раз. Странная была жена у Михалыча.

Обиделся он жизнь свою бестолковую: ну чего вскочил! Нужна ему эта резкость! Спал бы на здоровье, пока она одна не ушла бы на рынок. Нет, похмелиться приспичило алкашу чертову. Теперь прись за женой, как паинька-пятиклассник за бабушкой. Или тимуровец какой-нибудь.

Городской рынок кипел, бурлил. Бурчали на разные голоса продавцы-покупатели, шипела кожа и резина по асфальту, менялись лица перед глазами, толкались все. И резкость пропала от толкотни.

Вдруг слышит Михалыч писк, что-то внизу, в мешке, пискнуло, взвизгнуло — порося старуха продает. Живность.

— Почем? — буркнул он между делом, мечтая о пиве.

— За тыщу отдам, — сказала старуха с давно потухшими глазами и обвалившимися плечами.

— А ну покажь, — жена-то никуда не уйдет — с бабенкой торгуется, молодую картошку хочет прикупить.

Вытащила бабка порося из мешка, тот на волю посмотрел, на Михалыча, замешкался, задом в мешке крутанул, хрюкнул, словно сказать что-то хотел.

— Ты всего покажь, чего прячешь? — Михалыч даже не заметил перемен в не допохмеленном организме.

— А чего казать, все одно не берешь. Сглазишь еще.

Совсем, видно, были плохи у него дела. Сглазишь, ишь чего придумала, староверка несчастная.

— Почему не беру? — Михалыч доверчиво улыбнулся, и бабка заворковала настойчиво и обворожительно:

— Тут за десять кило. Почти по сто рублей. Рядом по сто сорок. Даром отдаю, некогда мне...

Взяла она поросенка на руки, как малое дитя. Мешок опал у ног исковерканным блином, а бабка товар свой и так, и эдак со всех сторон Михалычу напоказ.

— Хорошая будет свинья, — кто-то сказал, проходя мимо, явно ничего не понимая в свиньях и в настроении непохмеленного покупателя.

И сам Михалыч ничего не понимал ни в том, ни в другом. Ну, белая, хрюкает, глаза прячет, не ворочается. Смирная. Не то, что жена по любому поводу в бутылку лезет или на рынок тащит. Понравилась Михалычу свинья, поросенок на десять кило. Куплю и баста! Имею полное право. И сарай у меня есть. И выращу я ее, и воспитаю. Делов-то!

Купил. Сорок четвертаков отсчитал, за мешок добавил, на руки взял мешок, как когда-то в роддоме дочь, как недавно внучку в том же роддоме, и домой поскорее двинулся из шумного, явно перекипевшего котла — рыночного.

Жена рядом с сумками шла, злилась, бурчала, словно проглотила сильно бурчащий детектор. Муж не слушал ее. На руках живое существо, хоть и свинья возраста поросячьего, девчачьего, греет через пыльный мешок, теплом наполняет грудь.

— Как был дурак, так и остался, — бурчала жена, будто пластинка у нее заела на этой фразе или бурчалка сломалась, а может просто потому, что две сумки тяжело тащить.

Двести шагов не прошли, сосед навстречу канает.

— Чего купил?

— Хрю я, поросенок на десять кило, свиноматка, — созналась свинья, и — вот что удивительно! — первый встречный даже глазом не моргнул, будто Михалыч всю жизнь ходил на рынок за поросятами.

— Петрович с пятого на днях комбикорм предлагал по дешевке, зайди, пока есть, — сказал сосед и пошел дальше советы давать.

— Понял, — Михалыч погладил пыльный мешок и буркнул: «Так-то Машка, живы будем,

не помрем. У Петровича жратвы по дешевке накупим — хо-хо!»

— Совсем рехнулся. Жениться что ли собрался на своей Машке? — съязвила жена, а тут и второй знакомый попался.

А потом и третий. И все они советы подкидывали: у Петьки доски есть — закуток смастеришь, Валька запор сделает за пару бутылей. Шел Михалыч с Машкой, радовался, резкость сама собой навелась, хотя поросенок на десять кило бицепсы напряг до предела, и спина гудела, и жена вздыхала, достала своим нытьем.

…На утро вышел из девятиэтажки человек: в черном пиджаке, в глаженых брюках, в красной рубахе, в нагуталиненных ботинках, с рюкзаком за спиной и с сумкой в руке. Усы густые, чапаевские, глаза глубокие сияют блеском стали, улыбка бьется сквозь усы лица худого, смуглого — радостно человеку. Он план имел. За пару недель они дом сдадут, штук двадцать он заработает (а то и больше — сегодня разговор по этому поводу!), материалу прикупит, сарай утеплит, чтобы Машке осенью в бока не дуло, вес не сдувало с боков.

Хороший план, крепкий шаг — Михалыч идет. Давненько он не чувствовал такого душевного подъема.

Когда с зоны вернулся, к начальству таким шагом шел. Знал, что примет его управляющий трестом, как надо, найдет дело. А тот ему, нельзя тебе с людьми работать, статья такая. Ну и что, что ты на зоне руководил? Здесь не зеки, а нормальные люди. Так и сказал: «Здесь нормальные люди. Хочешь, плотником иди. Без денег не оставлю по старой памяти». Нет, грозно буркнул бывший зек, из ненормальных, то есть, крутанул по-солдатски и был таков. В кооператив подался, сам работенку нашел. Без сопливых. Деньжата все эти пять лет водились, председатель, ушлый мужик, себя не забывал и работягам давал заработать. Михалыч деньги в дело пускал: дочь замуж в хорошие руки отдал, свадьбу на ять справил, квартиру обновил, но… душой он маялся. Словно бы стиснули душу его крепкими клещами. Не потому что в прорабы не взяли, а потому что ненормальным назвали, нелюдем. Обидно — за честь свою стоял. Борова победил.

Гордо вышагивая по сонному асфальту, Михалыч мечтал: «На Машке потренируюсь, а там штук пять заведу».

На вокзале встретил корешей. В электричке они в деталях проработали разговор с хозяином, вышли из вагона — настроение выше крыши. По бутылочке пивка выпили, по две на вечер прихватили, идут-шумят, Михалычеву Машку обсуждают. А он радуется, давно с ним так люди не говорили. Вроде бы ничего такого, свинья на десять кило. Шутки деревенские с секс начинкой, но как-то по-другому стали относиться к нему кореша. Как? Да он и сам понять не мог. Шел к объекту, слушал треп парней и человеком себя чувствовал, нормальным то есть.

До обеда работалось легко. В половине четвертого к воротам подкатила «иностранка», хозяин поздоровался со всеми: «Привет!» и с каждым — за руку.

А в четыре часа бригада возвращалась домой. Солнце сбоку, Михалыч ближе всех к нему, может быть, оттого и потел. А, может быть, от чего-то другого. У Володьки шаг увесистый, туловище слегка вперед, рюкзак тяжелый, спальник наверху скаткой, в руках брезентовая сумка с гвоздями и электрорубанком, губы сжаты. Димка-толстяк тоже потел, идти в ногу с Володькой тяжело.

— Не захотел, не надо, плакать не будем. Расчет и поворот, — печатал шаг Володька, а Димка:

— С голоду не умрем. У меня есть работа. У хозяина три «Вольво», при деньгах, не то что этот бирюк.

Михалыч молчал. Не сговорились они с хозяином, психанул тот: «Три дня пили, столько халтуры налепили, еще надбавку просите?! Это вы мне должны платить за три дня простоя. Свободны. Расчет и полный вперед».

Сказал — отрезал. Даже не подумал, что осень на пороге. И мужики пошли на принцип: плати за разгрузку, и мы отваливаем. Расстались.

На перроне допили «вечернее пиво», жару в словах прибавилось. И шуму. Михалыч, правда, молчал. О Машке думал, чтобы тупые мысли не бередили мозги, но они бередили, мешали, тянули в прошлое, в кабинет директора профтехшколы. Он ругал себя: «Причем тут профтехшкола, забудь о ней». И забывал, и думал о Машке. Ничего страшного, подправит он ей сарай, Димка найдет объект, и председатель кооператива не оставит без дела. Зачем горевать? Другие больше дадут. Все хорошо. Нет. Чего-то не хватало. Уверенности не хватало Михалычу.

После приговора суда поколебалась уверенность в нем. После похода к управляющему треста еще меньше уверенности осталось. На днях она вдруг окрепла непонятно почему. Жить стало спокойнее. А ведь Михалыч уверенный был типчик, иногда даже слишком уверенный в себе и в своем будущем.

На станции разбежались. Пока. Пока. Завтра у Володьки в шесть.

«Черт бы побрал эту жизнь, — подумал Михалыч. — Чего не сделаю, все не так. Почему, а?»

Вдруг остановился и крикнул:

— Мужики, приходите ко мне в двенадцать. Я Машку зарежу, под парную свининку чекулдыкнем водочки.

И улыбнулся доверчивой улыбкой славного дитя великого вождя всех народов. Улыбка хрупкая, готовая в любую минуту взорваться звериным оскалом, чтобы не приставали, чтобы уважали.

— Ты что, сдурел? — Володька поставил сумку на тротуар. — Дворец ей собирался строить, а теперь…

— Какой из меня свинарь? Зарежу. Мясца парного рубанем под «Распутинскую». Я для этого Машку и купил. Это я так чего-то. Наслушался всех. Выгодное дело. Из меня свинаря сделать — ха, кому это выгодно? А, мужики, приходите!

— Чудишь ты, Михалыч. Ладно, завтра в двенадцать у тебя, пока!

И разошлись по хоженым дорожкам.

«Пить — не пить, чудить — не чудить, что делать, если, что не сделаешь, все не так?!» — подумал Михалыч.

Рюкзак ему надоел, носки в ботинках сбились, сумка тянула руки, но шел он быстро, чтобы поскорее покончить со всем этим.

— С чем ты хочешь покончить?! — взбеленилась жена, узнав про Машку.

Да так взбеленилась, что Михалыч даже загрустил от непонимания собственной жены: вчера хотела зарезать свинью, сегодня расхотела. Пойми этих баб!

— И ты вчера хотел, а сегодня расхотел, — шипела то ли жена, то ли картошка на сковородке: поругались они крепко.

Жена все-таки отстояла Машку. Говядины, говорит, пожрешь со своими алкашами, в морозилке три кило. А то и на рынок сходишь. И все. И сам будешь ходить за своей поросятиной. Нет, будешь. А под нож ее не дам. Вот чувырла огородная. Уперлась, как сломанный бульдозер, и ни с места.

Махнул Михалыч перед сном стопарик, потом еще один и уснул калачиком на левом боку.

А утром проснулся и — еще в кровати, под сопенье мирное жены — удивился: «Чего это я вчера чуть Машку не порешил?!»